



Валентин КАТАЕВ

Ночью

Страх — ужасное ощущение,
какое-то разложение души,
какая-то судорога мысли и сердца,
одно воспоминание о которой
внушает тоскливый трепет.

Мопассан¹

I

Контузия и продолжительная голодовка давали себя чувствовать. Левая половина туловища ныла, и я не мог заснуть. Кроме того, было очень холодно. Тоненькая шинель едва прикрывала голову и туловище, а мокрые сапоги смешно торчали из соломы, озаренные слабым светом стынущих угольев.

Телефонист Блох спал рядом. Его худое лицо с горбатым носом почти касалось моего плеча. Во сне он бормотал что-то быстро и неразборчиво, и я чувствовал у себя на щеке его нечистое дыхание, пахнущее испорченными зубами и отрыжкой. От соломы, на которой мы спали, несло конским навозом.

Рядом с нами чернела телега беженцев. Распряженные волю неподвижно стояли поодаль и казались белыми пятнами. У телеги возле шатра стояло что-то худое и высокое. Не то человек, не то дерево. Изнутри шатер просвечивал. Там, вероятно, горела свеча, и оттуда доносился монотонный, причитающий женский голос. Я прислушался, но не мог разобрать ни одного отдельного слова. Причитали на каком-то незнакомом, очень музыкальном языке. Было похоже, что читают стихи из Корана или бесконечную, безысходно-грустную поэму. По временам голос на миг прерывался, но потом продолжал свои грустные переливы. Я прислушался еще. Теперь уже можно было разобрать отдельные слова:

О, мой мик, о, мой мик,
Мой мик мо-ор! О-о-о...
О, мой мик мо-ор, мо-ор!
О, мой ми-ик, ми-ик!

Голос ныл. Мне хотелось есть и спать. Но спать я не мог.

О, мой мик, мик,
О, мой мик мо-ор!

Худое и высокое, похожее на дерево, зашевелилось. Оказалось — человек. Он переступил с ноги на ногу и опять застыл. На той стороне лощины пылали красные костры беженцев. Туман светился вокруг них. Голос из шатра не утихал, и я никак не мог понять, что это значит. Непонятные слова заставляли меня странно волноваться.

О, мой мик, мик!
О, мой мик мо-ор, мо-ор!

«Что это значит — “мой мик мор”?» — стал думать я и ничего не мог придумать. Мне стало страшно, и я не знал — отчего. Казалось, что пришел кто-то невидимый и неизбежный и стал позади меня. Захотелось завывать громко и по-звериному. Болела нога. «Memento mori», — почему-то подумал я. «Ах, мой мик мор!» Memento mori, memento mori... mor... мор... Умер... Я начал понимать — умер, умер... Кто-то умер. Кто-то умер, и над ним причитают. Вот откуда эта безотчетная, безысходная тоска! Я приподнялся, сел и просидел неподвижно очень долго, вероятно, целый час. Я трясся от лихорадки. Человек возле телеги опять зашевелился и подошел к костру. Он нагнулся к угольям, поднял тлеющую щепку, повертел ее перед собой и бросил обратно в жар. Для чего — неизвестно. И когда он наклонялся к огню, я отчетливо увидел его темное, нестарое лицо, красный кушак и высокую баранью шапку. Он посмотрел в мою сторону и увидел, что я не сплю. Постоял на месте и подошел ко мне. Было похоже, что он хочет заговорить. Но он с полминуты постоял, наклоняясь надо мной, и пошел прочь в темноту. Через две минуты он вернулся с куском толстой ковровой материи и укутал мои ноги, и мне показалось, что он улыбается виноватой и жалкой улыбкой. Я хотел ему сказать что-нибудь хорошее, но не мог это выразить на его языке — по-румынски. Потом человек в бараньей шапке сел недалеко на камне. Ему, вероятно, было одному жутко. Почувствовав тепло, больная нога перестала ныть, и я почти тотчас заснул. Ночью я просыпался несколько раз и видел человека в бараньей шапке, слабый свет из палатки и слышал причитания женщины.

Когда я проснулся, было уже светло и солнечно. Вокруг все пестрело и шевелилось: овцы, люди, волы, собаки. Всюду дымились костры.

Блох стоял, повернувшись лицом к солнцу, искал под мышками и на шее вшей. Человек, который укрыл мне ноги ковром, рубил на куски только что зарезанного барана. Два мальчика и девочка в высоких белых барашковых шапках играли с козлом, привязанным к телеге. Из шатра несло монотонное бормотание женщины. Я встал. Во рту был неприятный вкус жеваной резины.

— Абрам, слышали, как эта женщина причитала всю ночь? Я на силу заснул.

— Да. Что это такое?

— Наверно, над покойником.

У Блоха лицо отразило испуг и отчаяние. Казалось, он хотел кричать: «Какой покойник? Я не могу, я не хочу! Довольно с меня покойников!» Он спросил:

— Откуда?

— Наверно, ночью кто-нибудь умер.

Мы подошли к телеге и заглянули в шатер. Слабо горела тоненькая восковая свечка, вставленная в бутылку. Тощая женщина с отвисшими грудями и молодым, но по-восточному старообразным лицом сидела на земле. Она скрестила на животе худые коричневые руки и, мерно покачиваясь взад и вперед, пела вполголоса свою безысходную песню. Крупные слезы катились по ее грязным щекам. Возле нее лежало что-то маленькое и неподвижное, похожее на куклу. У самой свечки белел ситцевый детский чепчик и тонко золотилась прядь коротеньких волосиков.

Тогда я вспомнил, как вчера вечером опрокинулся воз беженцев.

II

Потом мы долго шли и точно не знали, по каким дорогам нужно идти, чтобы выйти к Дунаю. Изредка слышались пушечные выстрелы. Иногда мы наталкивались на деревни, полные беженцев, оставших солдат, обозов. То целыми сутками брели одни среди степей, на десятки верст, ровных, как лист бумаги. Мы голодали, и если где наталкивались на съестное, — набрасывались на него и пожирали. В деревнях мы шарили по дворам, стреляли в свиней из тяжелого солдатского револьвера и варили сало, но хлеба и соли у нас не было, и все время мучила изжога. От усталости и потрясения временами я ненавидел Блоха, и мне хотелось быть одному и плакать. Меня преследовали, как навязчивый кошмар, картины сытой, мирной и спокойной жизни. Часто мне казалось, что я ем в кондитерской пирожные и пью молоко, и в это мгновение я готов был дать отрубить себе левую руку за пирожное. Мне представлялось время, когда я был болен скарлатиной, выздоравливал и за мной ухаживал отец, читал вслух Куприна, играл «Месяцы» Чайковского², и я получал от одной гимназистки письма, которые казались тогда изумительно светлыми, нежными и дорогими.

...Наконец, мы пришли в жуткую деревню. В ней было пусто и страшно тихо. Жители уже успели выехать. Только шелудивые голодные собаки, похожие на волков, рыскали по дворам. Перед деревней окопалась наша пехота. Она ждала болгар. Серый день навис над белыми хатками с огромными медно-красными тыквами на соломенных крышах и железными решетками на окнах. Была осень. Мы выбрали себе недалеко от конца деревни домик, казавшийся лучше других, и решили в нем отдохнуть до следующего утра.

— Все равно — я дальше идти не могу, — сказал Блох.

Он натер себе пропотевшей портянкой ногу и еле двигался.

— Слава богу, что хоть до своей цепи добрались, — ответил я. — Батарей, наверное, недалеко. Версты две, не больше. Все равно раньше утра боя не будет. А утром успеем.

В хате все было перевернуто вверх дном. Столы опрокинуты, посуда побита. Треснувшая кадка с квашеными помидорами и перцем. Всюду пестрый хлам, лоскутья, спутанные разноцветные шерстяные нитки. Разлитый по полу рассол хлюпал под ногами. От него сильно пахло кислым и острым. Мы прошли в заднюю комнату, где было темно и чернел огромный очаг. Здесь Блох сбросил на пол телефонную станцию, которую все время таскал через плечо, сел на нее и сказал:

— Устал.

У него закрывались глаза.

— Ну, пойду на разведку, а вы кипятите воду для кофе, — сказал я и вышел.

Я обошел несколько грустных, разоренных хат, нашел деревянную ложку, бутылку с томатным соусом и поймал курицу в одном из дворов.

Трое румынских кавалеристов привязали коней к полуразобранному солдатами забору и варили что-то в котле, присев на корточки и протянув к огню озябшие лиловые руки. Я подошел к ним и сказал:

— Пына?³

Румыны повернули ко мне головы и поспешно ответили плачущими голосами:

— Ну эст пыне! Нуй!⁴

Я вынул из кармана десять кусков сахара и сказал, делая знаки руками:

— Вы мне пына, я вам Захар. Захар! Ладно? Пын — захар!

Румыны жадно взглянули на сахар и закивали головами. «Вот черти», — подумал я. Они долго торговались. Несколько раз я прятал сахар в карман и делал вид, что ухожу. Они с беспокойством что-то кричали, и глаза у них тускнели. Я возвращался, и они опять оживали. Наконец, я выменял на десять кусков два больших галета, которые румыны извлекли из грязной бумажной упаковки с надписью: «Paine militara»⁵. Когда я уходил, они приложили руки к кепи. Я вернулся в избу, огонь в очаге уже ярко пылал, в котелке кипел кофе. Блох вошел в соседней комнате, и у очага сидели какие-то румынские солдаты и разговаривали между собой. Из разговора этих румынских солдат я понял очень мало, но и этого было довольно, чтобы у меня потемнело в глазах. Блох сидел возле очага и прикуривал сигарку, скрученную из последней щепотки махорки. При свете огня ясно виднелись небритые щеки, горбатый нос, туго обтянутый кожей, и горло с кадыком.

— Послушайте, Блох, — сказал я ему шепотом, показывая глазами на румынских солдат, которые допивали кофе, — они только что говорили между собой, что деревня оставлена нашими войсками.

— Откуда вы знаете? — спросил он и побледнел.

— Кое-что понял... Подождите здесь. Я узнаю, в чем дело.

Я выбежал на улицу. Было почти совсем темно. Серое, мокрое небо стояло низко над крышами хат, сеялся мелкий дождь, ноги скользили по глинистой дороге. Вокруг было так тихо, что мне стало страшно. На окраине села, в окопах, не было ни души. Я остановился, затаил дыхание и слышал, как кровь стрекотала быстрыми звенящими толчками у меня в висках. Я огляделся по сторонам, и мне показалось, что в одном из дворов за скирдами стояли люди. Я закричал:

— Эй, кто там?

Никто не отозвался.

В сравнении с этой огромной тишиной мой голос показался слабым, маленьким, испуганным. Скользя и делая усилия, чтобы не упасть, я бросился назад, и мне казалось, что за мной кто-то гонится.

— Это вы? — спросил нервным голосом из задней комнаты Блох, расслышав мои шаги в сенях. — Ну, что?

— Деревня оставлена. Собирайтесь, ради бога, скорей!

Я вошел в комнату. Румынские солдаты расположились на полу, и лица у них были спокойные и веселые. Они о чем-то оживленно разговаривали, изредка смеялись широким беззаботным смехом и подмигивали нам, подталкивая друг друга ногами. Говорили они, во всяком случае, не по-румынски, а на каком-то языке, похожем на русский.

— Это болгаре, — сказал Блох. — Румынскоподданные. Ну, я готов.

— Надо им сказать, чтобы они немедленно убирались отсюда, если не хотят попасть в плен. Через полчаса здесь будут болгарские разъезды!

Я подошел к толстому солдату с лицом, похожим на луну, и сказал:

— Слушай, братушка, уходите отсюда! Русские ушли. Сейчас сюда придут болгаре.

Он сделал непонимающее лицо и сказал жалобно по-румынски:

— Нушты русешты. Шты романешты?⁶

У меня кровь прилила к голове.

— Врешь ты, сволочь! — закричал я срывающимся голосом. — Я сам слышал, как ты говорил по-русски. Ты болгарин! Блох, давайте револьвер!

— Нет! Нет! Я не есть болгарин. Я румынский подданный. Зачем револьвер? Мы румыны. Ты — братушка.

Он поднялся, захихикал и похлопал меня по плечу.

— Ну, живее! Скажи своим, чтобы они сейчас же уходили! Слышишь?

— Не кричи, братушка. Не надо уходили. Болгара нет. Пойдем с нами коржи кушать.

— Какие там коржи? Где?

— А вот тут рядом. Хата. Там наших много, коржи пекут.

Было ясно, что солдаты хотят попасть в плен к своим.

— Ну, живее! Веди нас коржи кушать! — сказал я. — Блох, пошли! Держите кинжал наготове, дайте мне револьвер.

Каждая минута была дорога.

Блох дал мне револьвер, взвалил через плечо телефонную станцию и надел папаху. Румынские солдаты встали с пола.

— Ну, живо, живо! Идите вперед. Ведите нас.

Они перекинули за спины карабины и, нехотя двигая ногами и переглядываясь, пошли к двери. Мы пропустили их вперед, и я сказал Блоху вполголоса:

— Эта теплая компания, кажется, собирается сдаться в плен. Им прямой расчет. Ведь все болгаре.

— Да, — ответил Блох, задул свечу, вытащил ее из горлышка бутылки и спрятал в карман.

Наступил мрак.

Мы вышли. Ночь стояла черная, как тушь. С большим трудом можно было отличить небо от крыш и деревьев.

— Они убьют нас, — прошептал Блох мне на ухо.

— Черт с ним! — сказал я, и мне показалось ужасно диким и чужим это «черт с ним». Страху не было. Была какая-то необъяснимая уверенность в себе.

На секунду все остановились и прислушались, и всем почудился отдаленный конский топот. Скользя, пошли вперед. Где-то далеко, может быть за восемь верст, залаяла собака. Румынские солдаты о чем-то горячо шептались. Блеснула слабая полоска света. Вероятно, из окна хаты.

— Здесь! — сказал толстый болгарин.

— Ладно, ладно! Идите все вперед!

Солдаты потолкались у заскрипевшей калитки и неохотно вошли в хату. Среди них начинался ропот и слышалась ругань.

— Блох, оставайтесь здесь, у калитки. В случае чего — крикнете. Если я крикну, бегите ко мне.

Я вошел в хату. У ярко пылавшего очага расположились шесть румынских солдат. Часть из них была без мундиров. Некоторые курили. Один из них, засучив рукава выше локтей, месил в корыте желтоватое душистое тесто. На самом жару, в углях, на сковородке шкварчало и дымилось сытым, вкусным запахом свиное сало.

Они, очевидно, и не думали уходить. Они разговаривали между собой по-болгарски. Все это было подозрительно. Солдаты, которые привели меня сюда, побросали карабины на пол и расселись вокруг огня. И вдруг я себе ясно представил, что, может быть, через десять минут

здесь будут болгарские разъезды. Я вспомнил про солдата, бежавшего из болгарского плена с отрезанным ухом и простреленной лопаткой, — он пришел к нам на батарею истощенный и душевнобольной от пережитого. Какая-то торопливая, нервная энергия нахлынула на меня, и я стал кричать на румынских солдат. Мне казалось, что они меня по-русски не понимают, и я начал подбирать французские фразы, как будто это было бы понятнее:

— Je suis volonteur russe! C'est la même chose que officier! Mordieu!⁷
Сию минуту выходите все из хаты!

Румыны нерешительно оглянулись и стали делать вид, что поднимаются с места. Я подвинулся ближе к двери. Солдат, который месил тесто, улыбнулся, показал на лоханку и причмокнул губами. Я вынул из кобуры револьвер и посмотрел на свет барабан, есть ли патроны. Румыны повскакали с мест и стали быстро собираться. Лица у них сделались злыми, и кое-кто стал открыто ругаться.

— Скорее, скорее! Черт возьми!

Один за одним они проходили мимо меня к двери и выходили в ночь. Секунды тянулись бесконечно. Каждая приближала опасность. Наконец, вышел последний, а за ним и я. После огня приходилось пробираться ощупью, одной рукой касаясь стены, а другой балансируя. Кое-где стали заметны пятна людей, деревьев, крыш. Вдруг возле самого моего уха кто-то сказал негромко, испуганно и напряженно:

— Кто идет?

Это был Блох. И по голосу его я понял, что он почувствовал один в темноте, пока я выгонял из избы румын.

— Я. Где румыны?

— Здесь. Идем. Ничего не слышно?

— Ничего... Как будто... топот!

Мы затаили дыхание. Где-то очень далеко залаяла собака.

— Мне страшно, Валя, — сказал Блох, в первый раз назвав меня по имени.

— Эй, сюда, румыны! — закричал я и испугался собственного голоса.

Два силуэта приближались к нам.

— А где остальные?

Остальных не было. И было бы безумием их искать.

III

Мы пошли вчетвером посередине мокрого, скользкого шляха, топча и поминутно касаясь руками земли, и все время позади, далеко лаяли собаки, и нам казалось, что слышится конский топот. Мои глаза привыкли к темноте, но я все-таки с трудом различал неровности дороги. Вдруг слева, из кучи мокрых деревьев, в нас ударил яркий сноп

света. Светилось окно в чьем-то доме, и даже была видна горевшая полным пламенем лампа, стоявшая на подоконнике. Посреди черного сада, окружающего дом, слабо тлели уголья гаснущего костра. Костер был похож на одинокого светляка, горящего мертвым, неподвижным огоньком в страшном дремучем лесу.

— Там кто-то есть, — сказал я. — Нужно пойти посмотреть.

— А они? — спросил Блох, показывая головой на болгар.

— А черт с ними! Пускай удирают, все равно ничего не выйдет.

Блох нашарил калитку, и мы пошли прямо на огонь. У костра не было ни души, но казалось, что здесь только что были люди. На подоконнике открытого окна рядом с лампой лежала женская шляпа с черной вуалью, как будто бы только что снятая и положенная здесь.

Мы взбежали по скрипучим деревянным ступеням на террасу и вошли в незапертые двери. Комната была пуста, но в ней чувствовался тот неуловимый запах, по которому безошибочно угадывается присутствие человека. По стенам висели фотографии каких-то мужчин и женщин, засиженные мухами, и лубочные олеографии духовного содержания. Грубые размалеванные лица святых, окруженные ярко-желтыми нимбами, смотрели на нас жестко и безразлично. У стены стоял стол, покрытый чистой белой скатертью, и на нем лежали раскрытый латинский молитвенник, четки и черные перчатки.

Блох прошел в соседнюю комнату, и его шаги гулко отдавались в пустом доме. Там тоже никого не было. Мне стало страшно.

— Блох, идем отсюда!

Мы вышли в сени. На потолке зияла черная дыра — ход на чердак, но лестницы не было. Блох крикнул вверх:

— Эй, кто там?

Казалось, что его окрик влетел камнем в черную дыру, да там и остался. Дом молчал. Я почувствовал, что у меня шевелятся волосы на голове и неприятный холод щекочет кожу на ногах и спине. Не сказав друг другу ни слова, мы бросились бежать, цепляясь ногами за кусты и какие-то прутья.

Только далеко от дома мы пришли в себя. Мы тяжело дышали и обливались потом. Болгар не было. Когда мы подходили к перекрестку, совсем близко заржала лошадь, слышались храп и хруст удил, и чей-то мужской голос громко произнес какую-то фразу, но так быстро, что нельзя было понять, по-русски это или нет.

Мы застыли на месте.

Я хотел броситься в сторону, лечь на черную землю, затаить дыхание и ждать, но продолжал стоять неподвижно как дерево, чувствуя рядом с собой такую же неподвижную фигуру Блоха. На сером фоне неба один за другим появлялись силуэты всадников. Их было восемь или десять. И вдруг я неожиданно для себя закричал:

— Кто идет?

Блох не пошевелился. Всадники осадили лошадей, и голос из темноты крикнул:

— Кто идет?

Тогда Блох крикнул:

— Русские?

Голос из темноты ответил:

— Русские. А вы кто?

Мы подошли. Всадники были совсем близко. Я всем своим существом чувствовал, что опасность миновала, но все-таки где-то в глубине души шевелился страх: а вдруг болгары? И я дрожал.

— Ради бога, скажите, где наша пехота? — спросил Блох.

— Ушла, — ответил один из всадников. — Должно, отседова верстов пять-шесть.

— А сзади кто-нибудь есть?

— Никого. Мы последний разъезд. Мы все время были в соприкосновении с болгарскими авангардами. Тут ихних два эскадрона. А вы кто такие?

— Мы отставшие, — сказал Блох. — Артиллеристы. Он контужен. Последними ушли с наблюдательного пункта.

Голос сказал что-то неопределенное, вроде «ага». Кавалеристы минуту постояли и потом тихонько тронулись, сворачивая на большую дорогу.

— Подождите! — закричал им вслед Блох с отчаянием. — Может быть, у вас есть лишняя лошадь? Мы артиллеристы. Умеем ездить. Он контужен.

Кавалеристы опять позадержались, и тот же голос сказал:

— Лошадей нет. Идите в деревню Пантелеймон-Десус, отседова верстов восемь. Мы идем туда, там, должно, наши останются. Прямо по этой дороге.

Пока мы были с людьми, я был спокоен, но чувствовал, что, если эта последняя горсточка «своих» бросит нас, меня охватит тяжелое, черное отчаяние, и я уже почти осязал, как оно шевелится на дне моей души, подобно огромному угловатому камню. Внезапно мне представилось, что мы легко можем отстать от разъезда, потерять дорогу, заблудиться в этой чернильной темноте.

— Поезжайте шагом, чтобы мы не отстали... А то хоть пропадай.

— Держитесь прямо по дороге. Верстов восемь, — отозвался голос, и разъезд тихонько тронулся.

Мы пошли за ним крупным шагом, кусая со злости губы до крови, когда скользкая дорога и стоптанные сапоги заставляли нас падать, цепко хватаясь друг за друга пальцами дрожащих рук. Внезапно разъезд перешел с шага на рысь и скрылся в темноте. Мы ничего не успели подумать. Мы не сказали друг другу ни слова и все шли и шли, придавленные, напрягая последние силы, думая только о том, что, может

быть, за селом дорога будет лучше. Возле некоторых домов воздух был насыщен запахом разлитого спирта, от которого кружилась голова и тошнило. Здесь, вероятно, уходящие солдаты громили погреба, выкатывали бочки, разбивали прямо посреди улицы прикладами. Земля была пропитана дрянной румынской водкой, от которой разило не то перцем, не то чесноком. Скоро мы вышли в поле. Дорога сделалась немного лучше, ровнее. Чутьем затравленного зверя угадывая направление, видя перед собой только черное поле и небо, которое было едва посветлее поля, мы шли изо всех сил. От быстроты и напряжения наши мозги, казалось, колотились о стенки черепа, и это причиняло тупую боль. Местность была совершенно ровная, и только в одном месте мы прошли мимо большой темной массы, вероятно — кургана. Блох начинал спотыкаться: у него потели ноги, и пот, въедаясь в язву, натертую сапогом, причинял ему страдания. Я чувствовал, что он отстаёт, но не уменьшал шага. Я слышал позади его нервные спотыкающиеся шаги и представлял себе его перекошенное горбоносое лицо, и это меня непонятно злило. Все ощущения и чувства перелились в эту глухую злость. Я тоже вспотел, и мое грязное тело, искусанное вшами, стало чесаться. Гонка продолжалась десять минут, а может быть, и час, потому что чернота ночи и однообразие ходьбы уничтожали понятие о времени.

Наконец Блох не выдержал:

- Не спешите! Я не могу поспеть за вами.
- Можете! — отрезал я грубо.
- У меня ноги вспотели и адская боль, — сказал он жалобно.
- А почему у меня не вспотели?

Он вспыхнул:

- Вы не смеете меня бросать! Пойдите!
- Никто вас не бросает. Идите быстрее.
- Я не могу.
- Можете.

И вдруг он разразился самой ужасной циничной бранью, осыпая меня упреками за то, что я хочу от него избавиться, бросить его на произвол судьбы. Он выкрикивал истеричным голосом:

— Я понимаю... Пока у меня был кофе, я вам был нужен... А теперь... конечно... Отдайте кофе! Вы хотите его взять себе.

Я вырвал из сумки жестянку с его кофе и бросил ему в лицо, но не попал. Жестянка пролетела мимо и упала с легким стуком куда-то в грязь. Я круто повернулся и пошел еще быстрее. Он заговорил упавшим голосом мне вслед:

- Хорошо, пусть я пропадаю... Пусть... Это на вашей совести...

Впереди блеснул огонек и погас. Я остановился. Как будто бы заржала лошадь и послышался тонкий свист. У меня упало сердце. Блох, подошедший сзади как призрак, уронил:

— Болгарский разъезд.

Мы долго стояли и потом тихо пошли, и нам все чудился тонкий свист и все казалось, что опять блеснет огонек.

IV

Я не знаю, сколько времени мы шли. Мне казалось, что я бесконечно пересекаю вокзальную площадь и что нет конца этой площади, и ощущение было до ужаса реально. Опять из темноты вынырнула темная масса — курган, и мы не знали, новый ли он или тот, мимо которого мы уже проходили. Было похоже, что мы кружим. Через некоторое время наши ослабевшие ноги почувствовали, что дорога спускается. Показались какие-то темные предметы: не то избы, не то стога, не то деревья. Блеснули яркие розовые столбы дыма от невидимых костров, и через десять минут мы входили в деревню.

— Земляки, какой части? — спросил Блох, когда мы проходили мимо одного костра.

Нам ответили номер какой-то незнакомой дивизии.

У другого костра то же самое.

И всё здесь были солдаты, отставшие от своих частей, оборванный, голодный сброд, который всегда плетется в хвосте разбитой, отступающей армии.

Мы подошли к большому костру, возле которого сидели и лежали беженцы. Сразу успокоились и почувствовали себя в безопасности, потому что вокруг были огни и много людей. Было, вероятно, уже часа три. Ноги наливались свинцом, веки смыкались, и хотелось прямо броситься на землю и спать. В стороне белела стена хаты. Было холодно. Мы пошли к ней. На пороге Блох вынул из кармана свечу, зажег ее и придавил щеколду. Дверь растворилась. Блох вошел в нее, держа свечу перед собой в вытянутой руке, и вдруг с криком бросился назад. Свеча прыгала у него в руке.

— Ради бога... Посмотрите, там...

Я подошел к двери и, не переступая порога, заглянул в сени. В сенях на глиняном полу лежал труп мужчины в крестьянской рубахе. Голова его, белая, как воск, касалась дверного косяка, на лбу темнело красное пятно, под глазами лежали синие тени, и грязные ноги, тоже восковые, раскинулись в стороны, показывая ногти больших пальцев. Возле него на полу лежали черные перчатки и женская шляпа с вуалью. Я захлопнул дверь и побежал за Блохом к костру. Старая морщинистая румынка увидела наши лица, поняла все и что-то стала объяснять, показывая на дверь дома. Мы ничего не понимали, а она делала большие глаза и старалась нам втолковать. Два слова, которые она произносила в сотне других, объяснили нам все: «Болгар... шпион».

На дворе было холодно. Мы забрались в амбар и легли прямо в теплый овес.

— Почему перчатки и шляпа? — спросил Блох шепотом.

Я не ответил. Мне было страшно и все мерещился труп. Потом мы начали засыпать, а наутро долго вытряхивали из своей одежды овес и опять шли.

Местность изменилась, стала волнистой и живописной. Я опять стал думать о доме, о родном городе и о море. Меня опять стали, как навязчивый кошмар, преследовать картины сытой, мирной жизни. Я представлял себе, как теперь хорошо кататься на лодке, ловить бычков или играть в теннис. Мне представлялись прогулки по загородным дачам, уже пустым и таинственным. В душе моей пели шорох сухих листьев, скрип гравия под ногами и нежный женский голос. Я представил себе почему-то с необычайной яркостью симфонический концерт в городском саду. Раковина для музыкантов блестит внутри мокрыми глянцевитыми пятнами от электрических фонарей. Фонари сверкают ослепительными звездами и освещают неподвижные зеленые акации, которые на фоне неба, черного, как тушь, похожи на декорации. Вокруг — сытые, веселые люди, которые только что наслаждались мороженым, а теперь будут наслаждаться музыкой. Оркестр начинает играть. Сильные, красивые звуки, то муаровые, то свирельные, сплетаются в почти осязаемый узор, и как будто ухо различает их цвета: красный, лиловый, голубой, хрустальный. Это Чайковский — «Двенадцатый год»⁸.

Какая красота!

— Не торопитесь! У меня болит нога, — сказал Блох.

Я посмотрел на его грязное, изможденное лицо, худую, залитую снизу грязью шинель и сказал:

— Какая ложь!

— Что ложь? — спросил Блох.

— Да все! — сказал я. — Вы слышали «Двенадцатый год» Чайковского?

— Слышал.

— Какая мерзость!

Меня душила злоба.

— Красота, красота!. Неужели же и эту дрянь, вот все это — эти трупы, и вши, и грязь, и мерзость — через сто лет какой-нибудь Чайковский превратит в чудесную симфонию и назовет ее как-нибудь там... «Четырнадцатый год»... что ли! Какая ложь!

Блох молчал. У него был вид сосредоточенный, изумленный, усталый, голодный.

— Почему именно черные перчатки и шляпа? — спросил он. — Ничего не понимаю.

Передо мною встала картина этой ужасной ночи, и я сказал с тоской:

— Хоть бы скорее до Дуная.

V

Вероятно, до Дуная было близко, — потому-то в воздухе чувствовалась уже неуловимая речная сырость.

По дороге попадались желтые буки, с которых уже наполовину осыпались листья, устилавшие их подножья светящимися кучами.

Синий утренний туман клубился холодными кусками, но вокруг было светло и чувствовалось, что за туманом — солнце и день будет погожий.

*Одесса, лазарет Красного Креста,
9 августа 1917 г.*

